**Дом продается**

Альфонс Доде

Над деревянной кое-как сколоченной калиткой, в широкой щели которой песок сада смешивался с пылью большой дороги, давно уже была прибита дощечка с надписью: «Дом продается». Летом она висела неподвижно под жаркими лучами солнца, осенью ее трепал и рвал ветер. Вокруг была такая тишина, что, казалось, дом не только продается, но уже покинут его обитателями.

Однако там кто-то жил. Сизый дымок, поднимавшийся из кирпичной трубы, которая немного выступала над каменной оградой, говорил о том, что здесь течет чья-то жизнь, столь же малозаметная, скромная и унылая, как дымок этого убогого очага.

Да и в саду, видневшемся сквозь шаткие доски калитки, ничто не напоминало той заброшенности, той пустоты, того беспорядка, какие обычно предшествуют продаже или отъезду и возвещают об этих событиях. Там тянулись ровные, прямые дорожки, виднелись круглые беседки, у водоема хранились лейки, у стены дома стояли садовые инструменты. То был скромный крестьянский домик, прилепившийся к косогору, двухэтажный с теневой стороны, одноэтажный — с солнечной; с этой стороны дом напоминал оранжерею: на ступеньках лежали груды стеклянных колпаков, опрокинутые пустые цветочные горшки. Другие горшки, в которых цвели герань и вербена, были аккуратно расставлены на горячем белом песке. Если не считать двух-трех больших вязов, сад был весь на солнцепеке. Знойные лучи падали на фруктовые деревья, рассаженные шпалерами: листва их была разрежена, чтобы сочнее наливались плоды. Тут же росла клубника, и на высоких колышках вился горошек. Посреди всех этих растений, этого покоя и порядка по дорожкам весь день кружил старик в соломенной шляпе; он без устали подрезал, подчищал ветки и бордюры, а когда жара спадала, принимался за поливку.

Старик не вел знакомства ни с кем в околотке. У него никогда никто не бывал, кроме булочника, тележка которого останавливалась у каждого дома на единственной улице деревни. Иногда, прочитав объявление, какой-нибудь прохожий, подыскивавший себе участок на одном из этих пологих склонов, таких плодородных, словно созданных для фруктовых садов, звонил у калитки. Сначала дом оставался безмолвным. После повторного звонка из глубины сада доносился стук деревянных башмаков; стук медленно приближался, и старик с сердитым видом приоткрывал калитку.

— Что вам угодно?

— Этот дом продается?

— Да, — с усилием отвечал старик. — Да... он продается, но предупреждаю вас: за него просят очень дорого...

И рукой, готовой снова запереть калитку, он преграждал доступ в сад. Глаза его сверкали гневом, они выпроваживали вас; он не двигался с места, охраняя, словно дракон, свои грядки и посыпанный песком дворик. Люди уходили и шли своей дорогой, спрашивая себя, что это за чудак, с которым им довелось столкнуться, и что за странное безумие объявлять, что дом продается, когда так страстно желаешь его сохранить.

Для меня эта тайна нашла разгадку. Однажды, проходя мимо домика, я услышал взволнованные голоса, громкий спор.

— Дом нужно продать, отец, его нужно продать... Вы дали нам слово.

И дрожащий голос старика:

— Да ведь я и сам хочу продать, дети... право! Ведь я вывесил объявление!

Таким образом я узнал, что на продаже дома настаивают сыновья и невестки старика, мелкие парижские лавочники. Это они требовали, чтобы он расстался с дорогим ему уголком земли. По каким причинам? Не знаю. Достоверно одно: они находили, что дело чрезмерно затягивается, и с этого дня начали приезжать каждое воскресенье, чтобы изводить несчастного старика, заставить его выполнить свое обещание. С дороги, в великом воскресном безмолвии, когда сама земля отдыхает от того, что всю неделю ее вспахивают и засевают, я отчетливо слышал их разговоры. Лавочники беседовали, спорили между собой, играли в «бочонок», и слово «деньги», произносимое их резкими голосами, отдавалось в ушах тем же металлическим звоном, с каким падали в лунки жестяные кружочки, которые они метали. Вечером все они уезжали; проводив их немного, старик поспешно возвращался домой и с блаженным видом запирал свою калитку; впереди у него была неделя передышки. На целых шесть дней в доме снова воцарялась тишина. В саду, залитом солнцем, слышался только хруст песка под тяжелыми шагами да шуршание грабель.

Однако старика с каждой неделей все сильнее торопили, все назойливее приставали к нему. Лавочники пускали в ход все средства, привозили внучат, чтобы растрогать его.

— Вот видите, дедушка, когда дом будет продан, вы переедете к нам. Нам будет так хорошо всем вместе...

Они шушукались во всех углах, сновали по дорожкам сада, вслух занимались разными подсчетами. Однажды я услыхал, как одна из невесток кричала:

— Лачуга не стоит пяти франков, она только и годится, что на слом.

Старик все выслушивал молча. О нем говорили, словно он уже умер, о его домике — словно его уже снесли. Он ходил по саду сгорбленный, со слезами на глазах, по привычке высматривая, не нужно ли где на ходу подрезать ветку, снять плод. Чувствовалось — он в этом уголке земли пустил такие глубокие корни, что не в силах будет оторваться от него. И действительно, что бы ему ни твердили, он все время откладывал свой переезд. Летом, когда зрели те чуть кисловатые ягоды, которые отдают свежей зеленью, — вишни, крыжовник, черная и красная смородина, — он говорил себе:

— Подождем сбора, потом я сейчас же продам все...

Но после сбора вишни наступал черед персиков, затем винограда и, наконец, чудесного темно-коричневого кизила, который собирают чуть ли не под снегом. После этого наступала зима. Поля вокруг были черны, сад пуст. Ни прохожих, ни покупателей. Лавочники, и те уже не приезжали по воскресеньям. Три долгих месяца покоя, в течение которых нужно было приготовить семена, подрезать фруктовые деревья; а дощечка, никому не нужная, по-прежнему висела у калитки, омываемая дождем, колеблемая ветром.

Наконец дети старика потеряли терпение; они догадались, что он всячески отваживает покупателей, и решились на героическое средство: одна из невесток поселилась у свекра — вертлявая лавочница, с самого утра разряженная в пух и прах. У нее был тот приветливый, лицемерно-кроткий вид, та слащавая любезность, которые свойственны людям, привыкшим угождать покупателям. Казалось, она завладела большой дорогой. Она широко раскрывала калитку, громко разговаривала, улыбалась прохожим, словно говоря:

— Зайдите, взгляните... дом продается.

Старику уже не было покоя. Иногда, пытаясь забыть о ее присутствии, он вскапывал свои грядки, засевал их, как те смертельно больные люди, которые охотно строят планы, чтобы рассеять свои опасения. Лавочница неотступно следовала за ним и пилила его:

— К чему вам это? Что вы для чужих так стараетесь?

Он не отвечал и продолжал работать с поразительным упорством. Запустить свой сад значило бы уже частично потерять его, начать с ним расставаться... Вот почему на дорожках не было ни одной сорной травки, на розовых кустах — ни одной лишней веточки. А между тем покупатели не являлись. То было время войны, и лавочница тщетно распахивала калитку, тщетно расточала улыбки в сторону большой дороги — там проезжали только возы с домашним скарбом, в калитку входила одна только пыль. День ото дня лавочница становилась все более злобной. Неотложные дела требовали ее возвращения в Париж. Я слышал, как она осыпала свекра упреками, устраивала ему настоящие сцены, хлопала дверьми. Старик молча горбился и утешал себя тем, что любовался на всходы горошка да разглядывал висевшую все на том же месте дощечку с надписью: «Дом продается».

...В этом году, приехав в деревню, я снова увидел домик, но — увы! — дощечки уже не было. На ограде еще висели клочья разорванных, покрывшихся плесенью объявлений о продаже. Кончено: дом продали. На месте ветхой серой калитки стояла новая, свежевыкрашенная в зеленый цвет, с полукруглым верхом, с зарешеченным отверстием, сквозь которое был виден сад. Но не прежний фруктовый сад, а мещанское нагромождение клумб и лужаек, миниатюрных каскадов, и все это отражалось в большом металлическом шаре, качавшемся перед крыльцом. В этом шаре гирляндами ярких садовых цветов изгибались дорожки и причудливо расплывались две громоздкие фигуры — краснолицый, обливающийся потом толстяк, утопавший в садовом кресле, и тучная, задыхавшаяся дама, которая, потрясая лейкой, кричала:

— Я их уже четырнадцать вылила на бальзамины!

Надстроили этаж, подновили забор; и в этой маленькой, заново отделанной усадьбе, где еще пахло краской, кто-то бешеным темпом барабанил на фортепьяно заигранные кадрили и польки.

Танцевальные мотивы, доносившиеся до большой дороги и бросавшие в жар, удушливая июльская пыль, разгул ярких красок, тучная дама — все это хлеставшее через край пошлое веселье заставляло мое сердце сжиматься. Я вспоминал бедного старика, который, бывало, хозяйничал здесь, такой счастливый, такой спокойный; я мысленно видел его в Париже, его сутулую спину садовника, его соломенную шляпу, видел, как он бродит по полутемной комнате за лавкой, тоскующий, запуганный, задыхающийся от сдерживаемых слез, меж тем как его невестка торжествует за новеньким прилавком, где звенят деньги, вырученные от продажи дома.